



Асхат Гадеев

ПЕТРОГРАДЪ
ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛЬ

ВЫХОДЪ ВЪ ГОРОДЪ

III к
013
1302

Рассказы. Сборник 2

Асхат Гадеев
Рассказы. Сборник 2
Серия «Рассказы», книга 2

<https://litres.ru/73738884>

SelfPub; 2026

Аннотация

Судьбы этих людей разделены годами и тысячами километров. Кто-то покидает Петербург после революции, кто-то едет через полстраны за мечтой, кто-то хранит память о вещи, пережившей несколько поколений, а кто-то просто пытается вырваться из серого быта в другую жизнь.

Эти рассказы — о времени, которое меняет людей и страны, о любви, долге, надежде и чужом равнодушии. О том, что иногда человек теряет почти всё, но продолжает жить — и именно в этом обнаруживается его сила.

Второй сборник расширяет мир первой книги: от семейной памяти и исторических переломов до сегодняшней провинциальной жизни.

Содержание

Туфелька.	5
Петербург.	6
Следствие.	9
Сибирь.	11
Дочь.	13
Дворянская кровь.	15
Пара есть пара.	17
Нимб.	19
Продолжение.	22
Чайная плантация.	24
Зая.	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Асхат Гадеев

Рассказы. Сборник 2

Все события и персонажи выдуманы автором чуть более чем полностью. Все совпадения случайны.

Туфелька.

Петербург.

В доме Вознесенских на Английской набережной всегда пахло кожей старых переплетов и лимоном.

Отец, Сергей Сергеевич Вознесенский, служил в дипломатической канцелярии. Знал французский, немецкий, английский и немного итальянский — для оперы. В их гостиной бывали люди с бакенбардами и орденами, говорили о балканских делах, о германском канцлере, о том, что Россия должна держаться. Мать, Софья Алексеевна, из обедневшей ветви Вяземских, принимала гостей в кружевной накидке, разливала чай из серебряного самовара. Маленькая Наташа слушала разговоры из-за двери, а потом пыталась повторять французские слова, которые подслушала.

— Наташа, — говорил отец, — ты должна знать, кто мы. Наша фамилия на слуху с восемнадцатого века. Вознесенские служили России при Екатерине, при Александре, при Николае. Это надо помнить.

Наташе было семь лет. Она помнила, как отец, Сергей Сергеевич, водил её по набережной, как пахло от него сигарами и книжной пылью. Она помнила и туфельки, которые носила в детстве, — кожаные, с пряжкой, на маленьком каблучке. Они достались ей еще от мамы. Особенно помнила одну туфельку, левую, которую любила больше других. На ней была едва заметная царапина — мама рассказывала, что

зацепилась о каминную решетку, убегая от гувернантки. Бабушка тогда рассердилась, но туфельку не выбросила — отдала сапожнику, тот поставил латку, и их носило уже второе поколение.

Потом грянула война. Потом — революция.

В Петрограде стало нечем дышать. Соседние дома занимали какие-то люди с винтовками, по ночам стреляли, по утрам выносили мебель. Сергей Сергеевич понимал: их дом всё равно отберут. Не сейчас, так через месяц. Не отберут — так впишут в него десять семей с окраин. Он сказал жене: «Собирай самое нужное. Едем в Москву. Там хоть не так заметно».

Собрали один чемодан. Документы, иконы, фотографии, немного белья. Туфельку — уже тогда — сунули на дно. Всё остальное — мебель, книги, серебро, сервизы, которыми гордилась Софья Алексеевна, — бросили. Дом на Английской набережной закрыли и ушли навсегда.

В Москве отец нашёл работу в Народном комиссариате по иностранным делам. Большевикам, при всей их ненависти к старому миру, нужны были не просто люди со знанием языков. Им нужны были крепкие профессионалы, которые умеют вести переговоры, знают протокол, понимают, как устроена Европа. Таких было немного. Бывшие коллеги Сергея Сергеевича разбежались кто куда: кто эмигрировал, кто затаился, кто уже сидел в подвалах ВЧК. Он остался. Не потому, что верил — потому что надо было кормить семью.

Мать морщилась, но молчала. Что делать? Дочь растёт. А он, дипломат старой школы, теперь числился где-то в канцелярии, писал бумаги, переводил документы, ждал, когда всё кончится.

Не кончилось.

В тридцать седьмом отца арестовали ночью. Наташе было двадцать восемь, она спала в своей комнате, теперь уже в Москве, в маленькой квартире, где семья ютилась после переезда из Петербурга. Услышала шаги, голоса, звон посуды. Выбежала в коридор — мать стояла в одной рубашке, прижимала руки к груди, а двое в кожанках выводили отца.

Сергей Сергеевич был в пальто нараспашку, без шапки, но держался прямо. Увидел Наташу, сказал только: «Береги мать».

Больше они его не видели.

Следствие.

Мать вызывали на допрос трижды.

В первый раз она вернулась белая, как стена. На второй — молчала три дня, смотрела в одну точку. На третьем допросе случилось то, о чем она рассказывала потом только шёпотом, и то не сразу, а через много лет, уже в Сибири, когда Наташа сама стала совсем взрослой.

Майор НКВД — молодой, с крепкой шеей, с запахом махорки — сидел за столом, листал дело. Потом поднялся, обошёл стол, встал перед ней. Она сидела на стуле, прямая, как в свои лучшие годы на балу в Дворянском собрании, только платье было не бальное — старое, штопаное.

— Ну что, дворянка, — сказал он негромко, почти ласково. — Белая кость. Благородная. А теперь — враг народа.

Она молчала.

Он шагнул ближе, ткнул пальцем в её грудь — жестко, до боли.

— Я вот из крестьян, из Рязанской губернии. Босой бегал, лаптем щи хлебал. А теперь я здесь. И я решаю, жить тебе или не жить. Поняла?

Она смотрела на него. На его широкое лицо, на выбритый затылок, на петлицы с кубиками. И вдруг, сама не зная почему, ответила тихо:

— Вы и себя не помилите. Такая власть сама себя пожи-

рает.

Он усмехнулся, отошел к окну, закурил. Сказал через плечо:

— Жить будешь. В Сибири. Чтоб знала, как языком молоть.

Отца расстреляли в марте тридцать восьмого. Мать и Наташу как членов семьи врага народа сослали в Красноярский край, в деревню за Енисеем. Хорошо хоть не в тюрьму, не в лагерь. Впрочем, может, майор уже не успел: через два года, как рассказывали потом, его самого арестовали и расстреляли.

Такая власть сама себя пожирает.

Сибирь.

Ехали в товарном вагоне, в общей толпе ссыльных. В чемодане — смена белья, несколько книг, фотография отца в рамке, икона, переданная бабушкой перед отъездом, и та самая туфелька. Мать сунула её на дно, уже в Москве, когда собирались впопыхах. Наташа увидела, спросила: «Зачем?». Мать ответила: «Не знаю. Рука не поднялась выбросить. Это же твоя была. И моя тоже».

В деревне, куда их определили, выдали землянку на окраине. Мать, Софья Алексеевна, не державшая в руках ничего тяжелее чайной ложки, научилась колоть дрова, топить печь по-черному, полоть грядки. Руки её, тонкие, с длинными пальцами, покрылись трещинами и мозолями. Но держалась прямо, как и на допросе. И Наташу учила: «Не смей просить, не смей жаловаться. Мы Вознесенские. Нас не сло-мать».

Наташа устроилась фельдшером в местную больницу, она отучилась в Москве на медицинских курсах, успела закончить. Ходила по деревням, принимала роды, лечила детей, в промёрзшем медпункте при керосиновой лампе удаляла гланды — без нормального света, без хороших инструментов, только руки да опыт. Её любили, но сторонились. Знали: это бывшая знать, а теперь враги народа. А вдруг свяжешься, поможешь — себе дороже выйдет. Кто ж тогда поручится,

что тебя самого не тронут?

Мать умерла в сорок втором. От простуды, от голода, от тоски. Перед смертью велела принести чемодан, долго шарила на дне, достала туфельку. Наташа уже давно её забыла.

Мать держала туфельку на ладони, смотрела.

— Вот, — сказала. — И это здесь. А помнишь, как ты в них бегала по паркету? — Она помолчала. — Та жизнь уже не наша. А вещь осталась. Чудно.

— Мама, зачем ты её хранила?

— Не знаю. Думала, пригодится. А вот не пригодилось.

Она умерла в ту же ночь. Наташа похоронила её на деревенском кладбище, поставила деревянный крест. Осталась одна.

Дочь.

Через два года Наташа вышла замуж за местного парня, Михаила. Тракториста, молчаливого, работающего. Он знал, кто она такая, но ему было всё равно. «Ты баба добрая, — сказал он, — а что там у вас в Москве было — не моё дело». Родилась дочь, назвали Анной, в честь бабушки. Наташа сначала передумала: нехорошо нарекать в честь покойницы, может, судьбу повторит. Но назвала.

Сын у них не выжил, умер в младенчестве. Так и остались с Аней.

Жили в том же доме, что и ссыльные, бревенчатом, на две половины. Наташа продолжала работать фельдшером, Михаил в МТС. Свой чемодан Наташа держала на чердаке, почти забыла про него. Но однажды, когда Анне было лет семь, девочка забралась туда, нашла чемодан, открыла. Спустилась вниз с туфелькой в руках.

— Мам, что это?

Наташа взяла туфельку, повертела. Кожа потрескалась, пряжка потускнела, но латка — та самая, от каминной решетки — держалась. Наташа вдруг вспомнила Петербург, отца, мать, разговор в гостиной. Как она бежала по паркету, звонко, в этих туфельках.

— Бабушкина, — сказала она. — И моя. Твоя теперь.

Анна носила туфельку как игрушку, потом забыла. Ната-

ша убрала её обратно в чемодан.

Сама Наташа умерла, когда Анне было двенадцать. Михаил запил, потом пропал, потом нашли его в овраге. Анна осталась сиротой.

Дворянская кровь.

В деревне собрались: что делать с девчонкой? В детдом отправить? В районе был интернат, туда определяли сирот. Анну уже собрались везти, как вдруг старая бабка Матрёна, которая жила на другом конце улицы, вышла на крыльцо и закричала так, что соседи повыскакивали:

— Вы что, уморить её хотите?! Это же дворянская кровь! Таких в детдом — беду накличете на всю деревню! Проклятье пойдёт, вовек не отмолите!

Люди переглянулись. Кто-то хмыкнул, кто-то зашептался. Но возражать не стали — Матрёну боялись. Старая она была, тёмная, поговаривали, знается с нечистой силой. Свяжешься с ней — себе дороже.

— Со мной будет жить, — сказала Матрёна. — Я растить буду.

Никто не пикнул. Пусть забирает. У самих ртов полно, кормить нечем, а тут сама вызвалась. И ладно.

Анну привели к Матрёне. Та оглядела девочку, покачала головой.

— Худющая, бледная, а глаза — бабкины. Вознесенские и Вяземские, говоришь? — Она перекрестила Анну, поставила к иконе. — Живи, девка. Может, выживешь.

Анна выжила. Выросла, выучилась в местной школе, потом в фельдшерско-акушерском, как мать. Вышла замуж за

местного парня, Алексея, который работал на лесопилке. Когда расписывались, ей предложили взять фамилию мужа — Козловы они были, самые обычные. Анна отказалась наотрез.

— Я Вознесенская, — сказала. — Так и запишите.

В ЗАГСе пожали плечами, но записали.

У Анны и Алексея родилась девочка — Оля. Анна смотрела на дочь и думала: вот она, четвертая. Доживёт ли до старости? Увидит ли что-то, кроме этой деревни, этого неба, этих бесконечных сибирских зим?

Пара есть пара.

Однажды, уже в семидесятых, Анна разбирала Матрёнин сундук — старуха давно умерла, но вещи остались. На дне, под домоткаными половиками и старыми журналами, она нашла тот самый чемодан. Узнала сразу — мамин, с облупившейся краской.

Открыла. Наверху лежала туфелька.

Анна взяла её в руки. Кожа задубела, пряжка покрылась зеленью, но латка — та самая, ещё петербургская — держалась крепко. Анна повертела туфельку, приложила к своей ноге — мала, конечно. К Олиной — тоже. Ребёнок уже вырос, нога большая.

— Хорошая вещь, — сказала Анна вслух. — Сделаю-ка я ей пару.

В районном центре жил старый сапожник, еврей, которого звали Лейзер. Он пережил войну, был в партизанах, после работал в промкомбинате, а на пенсии принимал заказы на дому. Анна принесла туфельку.

Лейзер долго рассматривал, вертел в руках, щупал кожу.

— Довоенная работа, — сказал. — Хорошая кожа, честная. Таких сейчас не делают.

Анна покачала головой:

— Не довоенная. Дореволюционная. Ещё из Петербурга.

Лейзер поднял на неё глаза, и у него, кажется, на лоб по-

лезли брови. Потом снова посмотрел на туфельку, провёл пальцем по латке, по пряжке. Сказал тихо:

— Дореволюционная, значит. — Помолчал. — Сто лет ей, почитай.

— Сможете пару сделать?

— Я постараюсь, хотя будет сложно, — он опустил глаза, пряча лицо в усы. — Этот заказ для меня большая честь. Приходите через месяц.

Анна пришла через месяц. Лейзер протянул ей коробку. Внутри лежали две туфельки — одна старая, отреставрированная, и вторая, новая, точная её копия. Кожа, пряжка, даже латка — такая же, на том же месте.

— Почему латка? — спросила Анна. — На новой же не было царапины.

— А чтоб одинаковые были, — сказал Лейзер. — Пара есть пара.

Нимб.

Оле, дочери Анны, было тогда четырнадцать. Она училась в школе в райцентре, приезжала на выходные. Анна отдала ей коробку.

— Примерь, — сказала. — Это твоё. По праву.

Оля надела туфельки. Они были ей малы — она уже выросла из того детского размера. Но она чудом надела их как будто они поменяли размер, встала на каблучки, и вдруг показалось, что это её родная обувь, будто влитая. Сошла с крыльца, прошлась по деревенской улице. Было лето, пыльно, пахло травой и коровами.

И случилось то, чего никто не ожидал.

Соседка, тётя Дуся, вышла из калитки, увидела Олю — и замерла. Перекрестилась.

— Господи, — сказала. — Глядите-ка.

Люди выходили из домов, смотрели. Солнце стояло низко, свет падал на Олю со спины, и её волосы, светлые, отцовские, светились, как будто над головой нимб. Туфельки блестели начищенной кожей, и Оля шла по улице легко, не по-деревенски, будто по паркету. Будто на секунду — на одну секунду — всё вернулось. И Петербург, и гостиная, и разговоры о Балканах, и мать в кружевной накидке.

— Вознесенская, — сказал кто-то из стариков. — Из благородных.

Молодёжь смотрела, открыв рты.

Кто-то из старух шепнул Анне:

— Туфельки-то, видать, не простые. Память в них. И благословение.

Анна не ответила. Но сама подумала: может, и правда. Может, в этой старой туфельке, которую мать вывезла из Петербурга, которую хранили в чемодане через всю ссылку, которую передавали из рук в руки, — может, в ней и есть что-то. Не магия, нет. А память. И надежда.

Слух о туфельках и о том, как Оля вышла в них на улицу, разошёлся по окрестностям быстро. Кто-то удивлялся, кто-то посмеивался, а в соседней деревне, где жили одноклассники Оли — те самые, что дразнили её в школе «дворянкой» и «бывшей», — решили, что пора бы поставить выскочку на место.

Через неделю после того, как Оля впервые надела туфельки, к ним в деревню приехали на трёх мотоциклах. Парни из соседней деревни — человек десять, молодые, наглые, с палками. Якобы из-за покоса, который давно делили, но все знали: приехали показать, кто здесь главный. Заодно и Оле напомнить, что её «дворянство» нынче не в цене.

Собрались на улице, галдели, требовали, чтобы Оля вышла «показать свои туфельки». Анна испугалась, хотела закрыть дочь в доме, но Оля сама вышла на крыльцо. В тех самых туфельках. Ничего не сказала, просто встала и смотрела. Руки за спиной, осанка прямая как у прабабушки, бе-

локурые волосы струятся на плечи. Ни капли испуга или сомнения в глазах.

И тут из домов, из-за заборов, откуда ни возьмись, высыпали свои. Местная шпана. Те, кто обычно гонял собак и дразнил девчонок, — все вышли. Встали перед крыльцом, плечом к плечу. Молодые парни, которые ещё вчера могли свистнуть вслед, а сегодня — заслонили собой.

— Олю не троньте, — сказал старший, Витька Кузьмин, которого вся округа боялась. — Она у нас одна такая. Если чего — мы в обиду не дадим.

Соседские постояли, переглянулись, потом сели на мотоциклы и уехали. Больше не приезжали. И в школе нападок больше не было.

А Витька, прежде чем разойтись, обернулся к Оле, сказал хмуро:

— Ты это... носи их. Красивые.

И ушёл, сунув руки в карманы.

Продолжение.

Оля выросла, выучилась на врача — уже настоящего, с дипломом, в областном институте. Бабка её, Наташа, была фельдшером, прабабка Софья вообще не имела отношения к медицине. Оля стала первой в роду, кто получил высшее медицинское. Уехала в областной центр, работала в больнице. Замуж вышла поздно, за инженера, родила дочь. Назвала Наташей — в честь бабушки, той самой, что начинала фельдшером в сибирской глуши.

Когда Наташе исполнилось двенадцать, Оля достала с антресолей коробку. Достала туфельки — старую и новую, теперь уже обе старые. Кожа ещё больше задубела, пряжки потемнели, но латки держались.

— Это тебе, — сказала Оля дочери. — По праву.

Наташа надела туфельки. Они снова пришлись впору — будто ждали. Вышла во двор, прошлась. Никто не крестился, не говорил про нимб. Время было другое. Но Анна, которая приехала в гости и смотрела на внучку из окна, вдруг вспомнила: точно так же шла по улице Оля, когда ей было четырнадцать. И мать, наверное, так же ходила в этих туфельках по петербургскому паркету. И бабка — в той самой, первой, с латкой от каминной решетки.

Она заплакала. Не от горя — от того, что всё не зря.

Род Вознесенских, потерявший последнего мужчину, рас-

стрелянного в тридцать восьмом, и переживший ссылку, голод, забвение, не прекратился. Он продолжался в этих женщинах — фельдшерицах, врачах, матерях. В этой старой туфельке, которая прошла через столетие и всё так же держалась на ноге, как и сто лет назад.

Анна умерла в две тысячи третьем. Оля — в две тысячи двадцатом. Наташа живёт в Петербурге, работает в больнице, лечит детей. У неё растёт дочь, которой она однажды отдаст коробку с туфельками.

И скажет: это наше. Носи с честью.

Конец.

Чайная плантация.

Заводик по фасовке чая стоял на окраине подмосковного городка, там, где кончались пятиэтажки и начинались гаражи. До Москвы восемьдесят километров. На электричке полтора часа, если без остановок. На машине час, если не в час пик. Но никто из местных не ездил в Москву на работу. И москвичи к ним не ехали — расстояние выходило за черту потенциальной привлекательности. Тут или переезжай, или не берись.

Хозяина звали Владимир Викторович. Ему было пятьдесят с хвостиком, начинал в девяностые с ларька, потом открыл небольшой оптовый склад, потом дорос до собственно-го производства. Чай он любил. Не как гурман — как делец. Чувствовал рынок, знал, какие сорта пойдут осенью, а какие перед Новым годом. Умел договариваться с поставщиками, сбивал цены, выбивал отсрочки. Бизнес рос. Не взрывными темпами, но верно. В городке его уважали: рабочие места, налоги, спонсорская помощь на детский праздник.

Но те, кто работал у него, называли заводик по-другому. «Чайная плантация», — говорили они между собой. И усмехались невесело.

Потому что Владимир Викторович горел делом. Горел так, что жёг всех вокруг.

Он не чурался сам заниматься любым процессом. Мог

приехать на склад в шесть утра, перетряхнуть паллеты, поругаться с грузчиками. Мог засесть с маркетологом и переписать упаковку — три раза, четыре, каждый раз меняя требования. Мог позвонить директору по логистике в воскресенье и спросить: «А почему у нас в пятницу была такая-то отгрузка, ты проверял?»

Он всё контролировал. Или думал, что контролирует. На деле он создавал хаос.

Сотрудники пытались отлаживать рутину. Директор по контролю качества выстроила систему контроля: образцы, пробы, журналы, прослеживаемость партий. Владимир Викторович через месяц отменил — «бюрократия, мы не институт». Коммерческий директор ввёл регламент работы с клиентами: сроки, ответственные, эскалация. Владелец порвал регламент на совещании: «Ты меня клиентов не учи любить».

Директор по персоналу пыталась внедрить ежегодный пересмотр зарплат, программу «Приведи друга» в качестве дополнительной мотивации. Владимир Викторович согласился, потом передумал, потом снова согласился, потом в последний момент урезал бюджет и крутись как хочешь. Хорошие специалисты уходили. Он удивлялся: «Я же им плачу, я же им создал условия, чего ещё?»

Он не замечал, что сам отменяет решения сам же и принятые. Что требует отчёты, а потом не читает. Что ставит задачи, а через день говорит: «Я такого не говорил». И главное —

ответственность всегда лежала на ком-то другом. Если проект проваливался, виноват был менеджер. Если оборудование ломалось, плохой сервис — «Наладчики из курилки не вылезают». Если клиент уходил — «вы все тут бездельники, никто не додумался скидку дать». Любимое выражение его было — «А голову включать не пробовали? Почему я за всех должен думать? Детский сад.» Но все знали, что нужно делать, но зачем брать ответственность, когда оказывается, что все надо было делать по-другому. Это как лотерея.

Владелец перекладывал ответственность автоматически, как дышит. И не понимал, почему люди от него утекают как песок сквозь пальцы.

Разнорабочие и фасовщики менялись уже по третьему кругу. Их не жалко — наймём других.

Потом ушёл главный технолог — в Москву, на крупный пищевой комбинат. «Там хотя бы знают, чего хотят», — сказал он на прощание.

Потом ушёл коммерческий директор — в другую сферу, вообще из чая. «Нервы дороже», — сказал жене, и та подтвердила.

Владимир Викторович злился, но быстро нашёл замену. В городке безработица, люди шли на любой оклад. Но те, кто приходил, не задерживались. Через полгода — новый технолог, ещё через три месяца — новый коммерческий. Директор по персоналу продержалась год, потом уволилась сама — в декрет, как сказала, но все знали, что просто больше не

могла.

Третья смена технологов, вторая — коммерческих. Владимир Викторович начал пробовать привлекать топов из Москвы. Москвичи приезжали, смотрели на заводик, на процесс, на самого владельца. Некоторые задерживались на пару месяцев, потом уходили. И не просто уходили — крутили пальцем у виска в разговорах с бывшими коллегами. «Там псих, — говорили. — Он не управляет, он мешает управлять. И ты всегда крайний».

Владимир Викторович не понимал. Он искренне считал, что его сотрудники — неблагодарные, ленивые, не умеющие работать. Он им платит, он создал бизнес, он всё делает для людей. А они бегут. Почему? Вот нанимает он человека — профессионала, с горящими глазами, который знает, что делать. Тот приходит, предлагает решения, спорит, доказывает. Владимир Викторович вроде соглашается, потом переделывает, потом отменяет. Через пару месяцев смотрит — перед ним уже другой человек. Отвечает на вопросы, не глядя в глаза, опустив голову, как будто виноват. Голос тихий, инициатива пропала. Что происходит с людьми? Куда девается тот огонь?

Кульминация случилась в курилке на отраслевой выставке.

Владимир Викторович курил с другим предпринимателем — Игорем, владельцем небольшой пекарни из соседнего района. Игорь был старше, спокойнее, в бизнесе с девяно-

стых, как и он. Жаловался Владимир Викторович на жизнь: «Люди пошли, ни тебе лояльности, ни тебе желания работать. Москвичи вообще обидчивые. Два месяца и бегут. А мне кто будет дело делать? Я один не справлюсь».

Игорь молча курил, смотрел в сторону. Потом сказал негромко:

— Вова, а ты ни разу не задумывался, что дело в тебе?

— Во мне? — Владимир Викторович усмехнулся. — Я душу вкладываю. Я на работу приезжаю раньше всех. Я сам в цех встаю, если надо. Я зарплату не задерживаю.

— Не задерживаешь, — кивнул Игорь. — Но людей держишь за крепостных. Они от тебя бегут. И знаешь почему?

Владимир Викторович затянулся, не ответил.

— Потому что ты уже всех достал в этом городке, — сказал Игорь спокойно, как диагноз. — Ты достал своих же сотрудников. Ты достал поставщиков. Ты достал даже меня — мы с тобой год не здоровались, потому что ты на мою просьбу отреагировал так, будто я к тебе в карман лезу. А я просто просил скинуть контакты. — Игорь помолчал. — Ты не создаёшь порядок, ты создаёшь хаос. И сам его не замечаешь. А люди замечают. И уходят.

Владимир Викторович хотел возразить, но слова застряли. Он вдруг вспомнил лица уволенных технологов, ушедших коммерческих, сбежавших москвичей. Вспомнил их взгляды — усталые, отстранённые, иногда злые. И понял, что Игорь, возможно, прав.

Но вслух сказал:

— Ты не знаешь, что такое бизнес. Легко критиковать со стороны.

Игорь докурил, бросил окуроч в банку:

— Ладно, Вова. Ты спросил, я ответил. Дальше сам.

Развернулся и ушёл в выставочный зал.

Через три месяца от Владимира Викторовича ушёл последний толковый директор — тот, что держал на себе всё производство. Ушёл в другой город, к конкурентам. Сказал коротко: «Я устал. Мне надоело, что любое моё решение может быть отменено в любую минуту. И за всё отвечаю я, хотя решения ваши».

Владимир Викторович остался один. С заводиком, который хоть и работал, но уже не рос. С людьми, которые приходили и уходили, как сквозняк. С чувством, что он что-то делает не так, но что именно — не понимал.

Он сидел вечером в пустом кабинете, смотрел на чайные упаковки, рядками стоящие на стеллажах. Вкусный чай, хороший продукт. И бизнес мог бы быть крепче. Но люди утекали. Как песок сквозь пальцы. Он сжимал ладонь — песок сыпался быстрее.

Что же делать? Он как Сизиф — толкает в гору камень, а помощники бросают его с ношей один на один. Может, нанять консультантов? На примете есть много толковых, но что-то подсказывало: они не помогут. Когда всё вокруг рушится и горит — а он сам считал, что бизнес горит, — го-

товые решения не работают. Он же знает свой бизнес лучше всяких высоколобых консультантов. Может, пойти подучиться? Тоже сомнительная идея. В его возрасте менять себя... он и так уже сломался, только не замечал.

Владимир Викторович вдруг подумал: а ведь могло быть иначе. Если бы он вовремя оглянулся, услышал, понял. Но он не оглядывался. Он воевал с ветряными мельницами, а настоящая проблема сидела в нём самом. И она, эта проблема, никуда не денется. Потому что бизнес — это не только продукт и деньги. Бизнес — это люди. А людей он так и не научился слышать.

Он не знал, что делать. И уже не был уверен, что хочет знать.

Конец.

Зая.

Она проснулась от того, что муж гремел на кухне кастрюлями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.